
ЧУЖАЯ НОЧЬ
КНИГА 2
ЯСНАЯ
ДОБРЫНЯ ДЕМИДОВ
16+

Добрыня Демидов

Чужая ночь. Книга 2. Ясная

https://litres.ru/74994147
SelfPub; 2026

Аннотация

В Мериде сон стал товаром. Бедные продают свои ночи, богатые избавляются от собственных страхов, а доноры досматривают чужие кошмары до тех пор, пока не перестают узнавать родных. Мария Колосова знает этот рынок изнутри: в чужих снах она не теряет себя и видит то, что спящие прячут даже от самих себя. Таких, как она, официально не существует, а в Низинах их называют ворами чужих снов. Ей шестнадцать, у неё младший брат, мать, которая всё чаще зовёт её чужим именем, и семья, которая привыкла считать ночи вместо денег. «Ваш сон — ваш вклад в будущее», — повторяют экраны во всех дортуарах. Мария слишком хорошо знает, чьё будущее оплачивают её ночи.

Добрыня Демидов
Чужая ночь. Книга 2. Ясная

Глава 1

Я шла на голос, и темнота расступалась передо мной, тёплая и мягкая, как вода в заводи за насосной в самый жаркий день лета. Голос пел где-то впереди, тихо и упрямо, одну и ту же песню, которую знала только наша семья. Я звала его, сначала шёпотом, потом так громко, как не кричала даже на крышах Нижних Шлюзов, но он не отвечал и не сбивался. Он просто пел, будто меня не было рядом, будто он пел в пустую комнату, где никто не мог его услышать.

— Папа, — звала я. — Папа, это Маша. Я здесь.

Голос допевал последнюю строку, ту самую, которую мама обрывала все эти годы, и замолкал на один вдох. Потом он начинал сначала, тихо и бережно, с первых слов про воду, которая спит. Я шла и шла, и мне казалось, что я вот-вот увижу его плечи, его куртку, его руки, которые пахли металлом, но впереди была только тёплая темнота и огни чужих снов.

Я быстро поняла, что голос не становится ближе. Я шла к нему так долго, что в настоящей жизни давно стёрла бы ноги, а он звучал на том же расстоянии, на каком я услышала его

в первый раз. Стоило мне решить, что ещё десяток шагов, и я его увижу, как песня обрывалась и начиналась заново, только уже в другой стороне. Я поворачивалась и шла туда, и всё повторялось снова.

Тогда я начала считать, потому что ничего другого не умела. Я считала шаги, хотя во сне шаги ничего не значили, и считала, сколько раз голос начинал песню заново. На двадцатом разе я остановилась, села прямо в тёплую темноту и обхватила колени руками, как сидел Глеб на дне своего тумана. Голос пел двадцать первый раз, и я слушала его, закрыв глаза.

Он пел всегда одинаково, и это было первое, что меня испугало. Папа, которого я помнила, никогда не пел одинаково, потому что приходил со смены усталый и мог зевнуть посреди строки, мог засмеяться, если я открывала глаза, мог сбиться и начать куплет с середины. Голос в темноте не зевал, не смеялся и не сбивался никогда. Он делал один и тот же короткий вдох перед словами про сон, который нельзя отдавать, и одну и ту же паузу после них, ровно такую же, как в прошлый раз и в позапрошлый.

Я сидела и думала, что, может быть, здесь всё повторяется. Девушка из Девятой Низины махала рукой со своего балкона снова и снова, юноша в светлой комнате снова и снова говорил, что у него всё хорошо, и голос тоже мог попасть в такой же круг. Может быть, папа где-то здесь, в одном из дальних тёмных рядов, куда медсестра велела мне не смотреть, и ему

снится, что он поёт мне, и сон повторяется, как повторяются все сны в этом зале. Эта мысль была такой страшной, что я встала и пошла снова, лишь бы не думать её до конца.

Вокруг меня дышали сотни спящих, ровно и медленно, и это дыхание было не звуком, а чем-то вроде погоды в тёплой темноте. Однажды оно стало реже, будто кто-то пересчитывал спящих и на время убирал часть из них, а потом вернулось и снова стало ровным. Я не знала, что там происходит, наверху, за запотевшим стеклом, но догадывалась, что там меняются медсёстры, протирают крышки и смотрят на экраны у изголовья.

Я решила, что это и есть сутки. В спальне 4-2 так же менялось дыхание, когда ночная смена засыпала разом и разъёмы щёлкали над койками, и я с детства умела по звуку понять, который час. Здесь не было ни щелчков, ни кашля деда Захара, ни скрипа зубов младшей Луневой, но было это редкое дыхание, и я стала считать по нему сутки.

Огни чужих снов плыли вокруг меня, и я начала их рассматривать, чтобы не сойти с ума от одного и того же голоса. Они были голубыми, розоватыми, светло-зелёными, и внутри каждого было что-то тихое: комната, сад, улица, чьё-то лицо у окна. От каждого огня вниз уходила тонкая светлая нить, и все нити тянулись в одну сторону, в глубину, где не светилось ничего. Я старалась туда не смотреть, но взгляд всё равно соскальзывал вниз, как соскальзывает нога с мокрой ступеньки.

Мне было страшно, и поэтому я сделала то, чего делать не стоило. Я подошла к ближнему огню, светло-зелёному, в котором кто-то сидел на скамейке под деревом, и протянула руку к его нити. Нить была тонкой, как волос, и светилась изнутри ровным слабым светом.

Она оказалась тёплой, теплее, чем всё вокруг, и под пальцами она гудела. Гул был мелким и частым, как гудит провод под током в коробе над нашими койками, если прижать к нему ладонь в ночь по графику. Я хотела отпустить её сразу, но нить вдруг потянула меня за собой, вниз, мягко и настойчиво. Тёплая темнота подо мной стала плотнее и холоднее, и меня понесло туда, в глубину, куда уходили все нити, а у меня не было сил этому сопротивляться.

Я отдёрнула руку так резко, будто обожглась, и меня отбросило назад, в тёплое и светлое. Пальцы ещё долго гудели тем же мелким гулом, и мне казалось, что внизу, в темноте, кто-то заметил моё прикосновение и теперь ждёт, когда я сделаю это снова. Больше я нитей не трогала и ходила между огнями, прижав руки к груди, как ходят в чужом доме, где боятся что-нибудь разбить.

* * *

Злату я навестила, когда дыхание стало редким во второй раз. Её бледно-золотой огонёк держался там же, где я его оставила, и внутри была та же маленькая комната с низким потолком, похожая на спальню в дортуаре. Деревянная птичка с отбитым крылом стояла на подоконнике, а за ок-

ном горели звёзды, неподвижные, как нарисованные. Злата сидела на краю кровати, сложив руки на коленях, и смотрела на птичку.

Я села рядом, на край той же кровати, и кровать не прогнулась подо мной, как не прогибается ничто в чужом сне. Одеяло под ладонью было слишком гладким, без единой складки. Злата повернула голову не сразу, будто ей понадобилось время, чтобы понять, откуда идёт звук моих шагов.

— Колосова, — сказала она, растягивая моё имя, будто вспоминала его по слогам. — Ты опять пришла.

— Я обещала, — ответила я. — Как ты?

— Здесь тепло, — сказала Злата и посмотрела на свои руки. — Мама всегда говорила, что ей холодно. Ходила по комнате и говорила: Злата, где ты, мне холодно. А здесь тепло. Я даже не знаю, хорошо это или плохо.

Она говорила тихо и ровно, без своей обычной резкости, и от этой ровности мне стало не по себе. Злата, которую я знала, никогда не говорила без колючек, и даже плакала она зло, будто злилась на себя за слёзы. Теперь она сидела в своей тёплой комнате, гладкой и чистой, и её голос был таким же гладким.

— Сколько мы здесь? — спросила она.

— Двое суток, по-моему, — сказала я. — Я считаю по дыханию.

— Ты всегда считаешь, — сказала Злата, и уголок её рта дрогнул. — Мама тоже считала. Пока могла.

— Слушай меня, — сказала я и взяла её за руку. Рука была тёплой и слишком лёгкой. — Не забывай, кто ты. Повторяй себе: Злата Ремез, Третья Низина, сёстры Ася, Лера и Ника. Повторяй, как я считаю.

— Ася, Лера, Ника, — повторила она, как повторяют урок. — Ника вырезала птичку. Я помню. Я не дура, Колосова.

Последние слова она сказала почти своим голосом, резко и с вызовом, и я обрадовалась им так, как не радовалась никакому подарку. Я посидела с ней ещё немного, держа её за руку, а потом вышла, потому что голос снова начал песню заново и звал меня в другую сторону. На пороге я обернулась, и Злата смотрела мне вслед, положив ладонь на подоконник рядом с птичкой.

* * *

На третьи сутки я снова пришла к Злате и не узнала её сразу. Она сидела на том же месте, и комната была той же самой, до последней половицы, но в её лице что-то стёрлось. Глаза стали спокойными и мутными, как у Кирилла в общем сне, когда он сидел у стены с угольными рисунками и не понимал, где он.

— Злата, — позвала я. — Это я. Колосова.

— Здесь тепло, — сказала она. — Мама всегда говорила, что ей холодно.

Она сказала это теми же словами, что и в прошлый раз, с той же интонацией и той же паузой посередине. Я повто-

рила ей про сестёр, и она повторила за мной имена, но уже без своего «я не дура», просто как повторяют чужие слова. Тёплый сон делал с ней то же, что с голосом, с девушкой на балконе и с юношей в светлой комнате. Он стирал в ней всё неровное, всё колючее, всё, что было Златой, и оставлял только гладкое и тихое.

Мне стало так страшно, как не было даже в коридоре с трубами, когда двое в тёмной форме держали Романа у стены. Я схватила Злату за плечи и встряхнула её, и она не испугалась, а только посмотрела на меня с вежливым удивлением. Так смотрела мама в свои плохие дни, когда я приходила с работы, а она не понимала, кто я.

— Ты кто? — спросила Злата.

— Я Мария Колосова, — сказала я, и голос у меня задрожал. — Ты зовёшь меня странной. Ты разбудила меня в зале первого этапа, когда я заснула. Ты пришла первой на маяк и ругала меня за то, что я потеряла полчаса. Вспомни.

Злата долго смотрела на меня, а потом медленно перевела взгляд на подоконник, на деревянную птичку. Что-то в её лице сдвинулось, совсем чуть-чуть, как сдвигается лёд на заводи в первый тёплый день. Она протянула руку к птичке и взяла её, и пальцы её сжались вокруг отбитого крыла.

— Колосова, — сказала она, и в голосе снова мелькнула прежняя колючка. — Ты странная.

Я обняла её и долго не отпускала. Потом я пообещала, что приду ещё, и вышла, и всю дорогу между огнями думала

только об одном. Тёплый сон стёр Злату почти целиком за три дня, и я не могла понять, что он сделает с ней за год, за пять, за двадцать лет, которые Гордей пролежал бы здесь, если бы его не вынули через три.

Тогда я впервые подумала и о себе. У каждого спящего был свой огонь, значит, и у меня он был, и в нём что-то происходило, пока я бродила снаружи. Я не знала, что именно, и от этого незнания у меня похолодели руки, хотя вокруг было тепло.

* * *

Свой огонь я нашла на четвёртые сутки, когда дыхание зала стало редким в четвёртый раз. Я искала его долго, ряд за рядом, и в конце концов нашла не глазами, а чем-то другим, как находят в темноте собственную руку. Он висел в начале зала, среди других новых огней, последним в ряду, как и моя капсула, и светился серым ровным светом, похожим на свет пасмурного утра над Шлюзами.

Я заглянула внутрь и сначала не поняла, что вижу. Внутри огня кто-то строил комнату. Стены вырастали прямо из ничего, светлые и гладкие, одна за другой, как нарастает лёд на воде в первый мороз. Появилось окно, потом второе, потом свет из окон, ровный и тёплый, без теней. Под окном вырос стул, потом маленький столик, а на столике ваза с белыми цветами, точно такими, какие висели гирляндами в зале под куполом.

Я сразу узнала эту комнату. Я видела её каждую весну на

экране в общем зале нашего корпуса, в каждом видеописьме восходящих, с одним и тем же окном за спиной говорящего, и видела в первую ночь здесь, в огне юноши, который говорил кому-то невидимому, что учится и работает. Теперь эту комнату строили во мне, из моего света, и рядом никого не было, ни людей, ни рук, ни инструментов. Комната росла сама, будто кто-то снаружи вкладывал её в мой сон по кусочку, как вкладывают кирпичи в стену.

Потом на стуле появилась я. Сначала бледная, потом всё плотнее, она возникла так же, как стены, и я смотрела на себя со стороны, как смотрят в зеркало чужого дома. У неё были мои короткие тёмные волосы, мои серые глаза и мои обкусанные ногти, но на ней была светлая одежда, которая не мнётся, и она сидела очень прямо, сложив руки на коленях. Она посмотрела куда-то чуть мимо меня, туда, где должна была стоять камера, и улыбнулась ровной, спокойной улыбкой, которой я не улыбалась никогда в жизни.

— Тим, привет, — сказала она моим голосом. — У меня всё хорошо. Здесь кормят так, как нам и не снилось, и сады настоящие, с деревьями. Твоя карта у меня в кармане.

Я перестала дышать от этих слов. Это были мои собственные слова из письма, которое я написала Тиму в Обсерватории накануне финала. Я писала их за столом у окна, зачёркивала, переписывала, и никто, кроме меня, не знал, в каком порядке они стояли. Теперь девушка с моим лицом говорила их ровным голосом, в той же последовательности, только без

моих зачёркиваний и без той дрожи, с которой я их писала.

— Береги маму, — сказала она и улыбнулась снова, так же ровно. — Привет Кириллу. Я скучаю. У меня всё хорошо.

Я поняла, как делают видеописьма. Михаил Ланской сказал мне правду, как говорил её всегда, и я только теперь услышала, что именно он сказал. Восходящие действительно говорят своим семьям правду, потому что письма собирают из них самих, из их снов, из их памяти, из их голоса и лица. Тим будет сидеть на полу перед экраном и смотреть, как я улыбаюсь чуть мимо камеры, и поверит мне, и будет ждать год, и два, и десять, а я в это время буду лежать под стеклом, и мне будет тепло.

Я отступила на шаг, как отступала всегда, и посмотрела на комнату со стороны. Швы были здесь, тонкие и светлые, они обходили комнату по краю, как рама обходит дверь. Это была та же рама, что и на водокачке в моём финальном сне, белая и гладкая, и комната держалась в ней, как держится в раме картина. Картина без рамы падает на пол, подумала я, и эта тоже упадёт.

Я подошла к шву и положила на него ладони. Шов был холодным, холоднее всего в этом тёплом сне, и под пальцами он гудел, как гудела нить, только ниже и злее. Девушка на стуле повернула голову и посмотрела на меня, впервые прямо на меня, а не мимо, и её ровная улыбка не дрогнула. Я вцепилась в шов так, как рвала шов у белой двери на водокачке, когда держала Тима на руках, и рванула его в стороны

изо всех сил.

Шов поддался не сразу, он был плотнее, чем на водокачке, и я тянула его, упираясь, пока у меня не потемнело в глазах. Потом что-то треснуло, громко и сухо, как трескается лёд под ногой на заводи. Белая рама разошлась у меня в руках, светлые стены поплыли, окно сложилось пополам, а ваза с белыми цветами рассыпалась в мелкую светлую пыль. Девушка на стуле открыла рот, чтобы сказать ещё что-то про то, как ей хорошо, и не успела, потому что её лицо пошло трещинами, как запотевшее стекло, по которому провели пальцем.

Свет вокруг меня мигнул, раз и другой. Ровное дыхание сотен спящих сбилось, впервые за четверо суток, будто весь зал разом вздрогнул во сне, и где-то далеко тонко и прерывисто запищало, как пищала слушалка в подвале у Савы. Огни качнулись, как фонари на воде от брошенного камня, а мой собственный огонь вспыхнул вдруг почти белым и снова погас до тусклого. Голос отца пел где-то далеко, по-прежнему ровно и тихо, и ничего из того, что я сделала, его не коснулось.

Я стояла посреди своего разорванного огня, и руки у меня дрожали. В светлой пыли под ногами ещё угадывались очертания стула и столика, и я нарочно наступила на них босой ногой, чтобы почувствовать, что их больше нет. Я не знала, построят ли они комнату заново и смогу ли я разорвать её снова. Я знала только, что этой ночью никто не соберёт для

Тима девушку с моим лицом, и этого мне было достаточно.

Потом ко мне пришёл холод. Он пришёл откуда-то из-за пределов сна, резкий и колючий, как вода в заводи в апреле, и тёплая темнота вокруг меня стала тонкой, как бумага. Я почувствовала своё тело, впервые за четверо суток, тяжёлое, затёкшее, чужое, и что-то давило ему на виски. Потом кто-то положил мне руку на плечо, живую, тёплую руку, и сжал его осторожно, будто боялся сломать.

Огни чужих снов поплыли и погасли один за другим, как гаснут окна дортуара после отбоя. Голос отца пел где-то в темноте, всё тише и тише, и я пыталась дослушать его хотя бы до конца строки, но он уходил от меня, как уходил все эти четыре дня. Последним, что я услышала из сна, было слово «вода», а первым, что я услышала из жизни, был другой голос, совсем близко, у самого уха.

— Маша, — сказал Роман. — Просыпайтесь.

Крышка капсулы была откинута, и надо мной висел не голубоватый свет зала, а темнота, в которой горела одна маленькая лампа. Холод шёл отовсюду, хотя в Оранжерее было тепло, как всегда, и я не сразу поняла, что холодно не воздуху, а мне самой. Тело лежало тяжёлое, будто налитое мокрым песком, и пальцы шевельнулись медленно, через силу, как чужие.

Роман склонился надо мной так низко, что я видела его лицо целиком, бледное, с тёмными кругами под глазами. Он был не в светлом костюме, а в тёмной куртке, застёгнутой

до горла, и рука его по-прежнему лежала у меня на плече. Я смотрела на него и не верила, потому что за четыре дня в тёплой темноте разучилась верить во что-то, кроме голоса, который никогда не становится ближе.

— Это не сон, — сказал он, и рука на моём плече сжалась. — Я здесь. Вы можете сесть?

— Не знаю, — ответила я, и голос сел, как после долгого крика. — Сколько?

— Четверо суток, — сказал он. — Сегодня ночь на двадцать восьмое.

Я посчитала, хотя голова гудела, и число совпало с моим. Четыре раза дыхание зала становилось редким, и я не ошиблась ни разу. Почему-то это обрадовало меня больше всего остального, будто в тёплой темноте я сохранила хоть что-то своё.

У изголовья капсулы, перед маленьким экраном, стояла доктор Ольшанская. Её короткие серебристые волосы светились в свете лампы, и лицо было усталым и спокойным, как в тот день, когда она проверяла мой обруч. Она смотрела на экран, где вместо ровной зелёной линии дёргалась рваная, ломаная, и что-то быстро отмечала в тонком журнале.

— Сядьте, Мария Андреевна, — сказала она, не поднимая глаз. — Медленно. Голова будет кружиться минут десять.

Роман подхватил меня под спину, и я села. Ряды капсул качнулись, как лодки у причала, и я вцепилась в край стекла, чтобы не упасть обратно. Обруч с моей головы уже сняли,

и виски ныли тупо и глубоко, как после самой тяжёлой проданной ночи.

— Сегодня в начале ночи ваша запись сорвалась, — сказала Ольшанская. — Письмо, которое собирали из вашего сна, разрушено. Я не знаю, как вы это сделали, и не хочу знать. Я дежурный врач, и по регламенту я имею право вывести спящего по медицинским показаниям до утреннего осмотра. Утренний осмотр в шесть.

— Вывести? — переспросила я.

— Тем же порядком, — сказала Ольшанская, — каким семнадцать лет назад я вывела Гордея. Я была тогда молодым врачом, и это было моё первое дежурство в этом зале. Его запись сорвалась так же, как ваша. Только он ничего не разрушал, он просто начал кричать во сне.

Я вспомнила пустую капсулу в старом ряду, потускневшую табличку и одно имя на ней. Я вспомнила строчку из реестра, которую показывал мне Роман: «Выведен. Возвращён в Низины по медицинским показаниям». За этими словами стояла она, женщина с серебристыми волосами, которая шептала мне «простите», и семнадцать лет она помнила, как это делается.

— Доктор Ольшанская нашла меня сама, — сказал Роман, будто услышал, о чём я думаю. — Через два дня после церемонии. Сказала, что если что-то случится, она даст знать. Сегодня она дала знать.

Я спустила ноги на тёплый пол и встала, держась за Ро-

мана. Ноги подогнулись сразу, как подгибаются они у Тима, когда он отсидит их, рисуя на полу, и Роман удержал меня под локти. Я стояла, качаясь, и смотрела вдоль ряда, туда, где в первой капсуле под запотевшим стеклом лежала Злата.

— Злата, — сказала я. — Мы берём Злату.

— Её запись чистая, — ответила Ольшанская, и голос у неё стал сухим, как в зале под куполом. — Я не имею права. Если я выведу её, это будет уже не медицинское показание, а побег.

— Это и так побег, — сказала я. — Я без неё не пойду.

— Мария Андреевна, у вас мало времени.

— Я без неё не пойду, — повторила я и отпустила руку Романа.

Я дошла до первой капсулы сама, держась за стекло соседних, как держатся за перила на шаткой лестнице, и считала каждую, потому что иначе не дошла бы. Злата лежала на спине, со сложенными на груди руками, и в её пальцах была зажата деревянная птичка. Лицо у неё было спокойным и гладким, совсем не её лицом, и я вспомнила, как она спросила меня во сне вежливым голосом, кто я такая.

Роман подошёл ко мне и посмотрел на Ольшанскую, а она медленно и подчёркнуто отвернулась к своему журналу. Она будто не хотела ничего видеть. Тогда Роман достал из кармана тонкую белую карточку и приложил её к панели под экраном.

— Доступ Глеба, — сказал он мне вполголоса. — У него

был допуск ко всем узлам Комиссии, его так и не закрыли. Отец, наверное, просто не подумал, что кто-то им воспользуется.

Панель пискнула, и на экране замигало что-то красное. Крышка капсулы поползла вверх, тёплый сладкий воздух вырвался изнутри, а Злата даже не шевельнулась. Роман осторожно снял с её головы белый обруч, и я взяла её за плечи, как брала во сне, и встряхнула.

Злата открыла глаза и закричала. Она закричала так, как кричал Кирилл после четвёртого этапа, коротко и страшно, и забилась в капсуле, отталкивая мои руки. Я держала её и считала секунды, как считала в зале у Кирилла, и на седьмой секунде её взгляд остановился на моём лице.

— Нет, — сказала она. — Нет. Ты мне снишься. Ты опять мне снишься, Колосова.

— Не снюсь, — сказала я. — Мы уходим. Вставай.

— Куда? — Злата смотрела на меня с ужасом, прижимая птичку к груди. — Нельзя. Ты не понимаешь. Если мы уйдём, они вернут долг Асе. Они всё вернут.

— Не вернут, — ответила я. — Документы подписали при всём Мериде, я видела печать. Злата, ты здесь пропадёшь. Ты уже начала пропадать. Ты меня не узнала вчера.

Она посмотрела на меня так, будто я её ударила, и вдруг перестала вырываться. Я помогла ей сесть, и она попробовала спустить ноги на пол и не смогла. Ноги не слушались её так же, как меня, только сильнее, будто четверо суток в теп-

ле растворили в ней все кости.

— Я не могу, — сказала она и вцепилась в край капсулы. — Колосова, я не чувствую ног.

Ольшанская подошла к нам, всё так же не глядя на Романа, и выдвинула ящик под капсулой Златы. Там лежали белые бесшумные туфли, поставленные носок к носку, и Ольшанская молча надела их Злате на ноги. Потом она выпрямилась и посмотрела на мои босые ступни на тёплом полу.

— Ваших туфель здесь нет, — сказала она. — Их нашли на служебной лестнице. Красное на экране видит дежурная на посту, Мария Андреевна. До осмотра у вас оставалось больше часа, а теперь минут десять.

— А вы? — спросила я.

— Я останусь закрывать журнал, — сказала Ольшанская. — Кто-то должен записать, что произошло. Не беспокойтесь обо мне. Меня не будет, когда вас хватятся.

Я не поняла, что она хотела этим сказать. Она уже склонилась над журналом у моей пустой капсулы, и её рука с карандашом не дрожала. Я посмотрела в глубину зала, где ряды капсул уходили в темноту и свет над ними гас, и вдруг подумала о голосе, который пел там четыре дня и ни разу не стал ближе.

— Доктор Ольшанская, — позвала я. — В дальних рядах... Там есть кто-нибудь, кроме восходящих?

Она подняла голову и посмотрела на меня долгим взглядом поверх журнала. В её лице что-то шевельнулось, то ли

жалость, то ли страх, и карандаш в её руке замер. Я так и не смогла разобрать, что это было.

— Здесь только восходящие, Мария Андреевна, — сказала она. — Других здесь нет. Идите.

Роман подхватил Злату под руки, я взялась за неё с другой стороны, и мы повели её между рядами к боковой двери, которую я не видела раньше. Злата переставляла ноги медленно и неуклюже, как во сне, и почти висела на нас. Я старалась не смотреть на спокойные лица под запотевшим стеклом, потому что знала, что если посмотрю, то не смогу уйти.

За боковой дверью, в конце короткого коридора, стоял грузовой лифт с решётчатой дверью. Роман задвинул решётку, и лифт со скрипом пошёл вверх, совсем не так, как бесшумный белый лифт без кнопок. Я держала Злату и считала секунды, как считала тогда, только теперь числа шли в другую сторону.

На сорок первой секунде лифт остановился, и перед нами открылся тот самый низкий коридор с трубами под потолком, по которому мы бежали в день церемонии. Пахло ржавчиной и сырой водой, как тогда. Где-то здесь, на развилке, двое в тёмной форме прижимали Романа к стене, а я бежала налево, к лестнице, где меня поймали.

— Не туда, — сказал Роман, когда я повернула налево. — Наверх нам не надо. Нам надо вниз, по холму.

Он повёл нас направо, в узкий боковой проход, где трубы шли так низко, что ему пришлось пригибаться. Проход шёл

под уклон, сначала едва заметно, потом круче, и пол под босыми ногами стал холодным и влажным. Злата спотыкалась, её туфли шуршали по бетону, а мои ноги шлёпали, и этот звук казался мне самым громким на свете.

Где-то позади нас ударил звонок и зазвенел непрерывно, тонко и противно, а к нему примешались шаги, голоса и хлопанье дверей. Роман прибавил шагу, и мы почти побежали, волоча Злату между собой. Все звуки шли сверху и сзади, оттуда, откуда мы пришли.

— Нашли, — выдохнул Роман. — Быстрее.

Коридор пошёл вниз короткими мокрыми ступенями. На третьей ступени Злата выскользнула у нас из рук и ударилась коленями о бетон. Она не закричала, только тихо охнула и осталась сидеть, прижимая к груди деревянную птичку, и я видела, как трясутся у неё плечи.

— Я не могу, — сказала она. — Оставьте меня. Колосова, оставь, я не дойду.

— Дойдёшь, — сказал Роман и присел перед ней на корточки, спиной к ней. — Держитесь за шею. Крепче.

Злата посмотрела на его спину, потом на меня, и я кивнула ей. Она обхватила его за шею, и Роман встал, подхватив её под колени, и пошёл вниз по ступеням, тяжело и осторожно. Я шла за ними, держась за мокрую стену, и считала ступени, сорок, шестьдесят, восемьдесят, а наверху всё звенел звонок.

На развилке внизу Роман остановился, тяжело дыша. Из правого прохода упал луч фонаря, скользнул по стене, по

трубам, по мокрому полу и замер в трёх шагах от моих ног. За лучом слышались неторопливые тяжёлые шаги и ровный голос, который я уже слышала однажды на служебной лестнице.

— Нижний уровень, третья ветка, — сказал голос. — Двое восходящих, с ними третий. Идут к водостоку.

Роман шагнул влево, в темноту, и мы прижались к стене за толстой трубой, которая шла от пола до потолка. Луч прошёл по тому месту, где мы только что стояли, и стал шарить по стене. Я не дышала, и Злата у Романа на спине не дышала тоже, и я слышала, как стучит сердце у меня в горле.

Шаги остановились у самой развилки. Человек в тёмной форме стоял в десяти шагах от нас, и я видела край его рукава, гладкий и тёмный, без полумесяца. Он постоял, послушал и повернул луч в правый проход, туда, где коридор уходил вниз, к шуму воды.

— Пошли по правой, — сказал он кому-то. — Там выход к решётке.

Шаги удалились направо, и вместе с ними ушёл свет. Роман постоял ещё немного, слушая, а потом пошёл влево, на ощупь, ведя рукой по стене. Я считала шаги, потому что это было единственное, что у меня ещё получалось.

— Они думают, что мы пойдём к большой решётке, — сказал Роман шёпотом, не оборачиваясь. — Её все знают. Мы пойдём через старый люк. Глеб водил меня сюда, когда мне было одиннадцать, он хотел показать, откуда в Зените

берётся вода.

На шестьсот двадцатом шаге он нащупал в стене круглую железную крышку. Он опустил Злату на пол, прислонил её к стене и навалился на крышку плечом, и она подалась с долгим ржавым скрипом. Из темноты за ней пахнуло сыростью, тиной и холодом, и я узнала этот запах раньше, чем поняла, что это за место, потому что так пахли Шлюзы.

Мы пролезли в люк, и Роман снова взял Злату на спину. Водосточный тоннель был круглым и бетонным, таким низким, что Роману приходилось идти согнувшись. По дну текла вода, по щиколотку, ледяная после тёплого пола Оранжереи, и мои босые ноги сначала болели, а потом перестали чувствовать что-либо.

Мы шли молча, потому что каждый звук отдавался в тоннеле эхом. Я считала шаги и на тысячном сбилась, начала заново и снова сбилась. Иногда мне казалось, что я слышу где-то далеко тихое пение, тот же голос, те же слова, и я останавливалась и слушала. Потом я понимала, что это журчит вода, и шла дальше, и злилась на себя за то, что остановилась.

— Вы там были? — спросил Роман, не оборачиваясь, когда мы прошли очередную решётку. — Внутри? Вы что-нибудь помните?

— Всё помню, — сказала я. — Я не засыпала, как они. Я ходила там четыре дня.

— Что там?

Я долго молчала, подбирая слова, и вода журчала у меня

под ногами. Мне хотелось рассказать ему про голос, про отца, про песню, которую знала только наша семья. Слова не складывались, и я боялась, что если скажу это вслух, то оно рассыплется, как ваза с белыми цветами в моём разорванном сне.

— Там тепло, — сказала я наконец. — И там из нас делают письма домой. Я видела, как делали моё.

Роман остановился и обернулся ко мне, насколько позволял низкий тоннель. В сером свете решётки его лицо было белым, и пальцы, державшие Злату под колени, сжались до белых костяшек. Он ничего не сказал, только постоял, не отводя от меня глаз, и пошёл дальше, и я поняла, что он услышал всё, что я не смогла сказать.

Злата у него на спине заплакала, беззвучно, уткнувшись лицом ему в плечо. Я слышала только, как она шепчет одно слово, снова и снова, и это слово было «Ася». Я шла за ними, держась за мокрую стену, и вода текла мимо моих босых ног вниз, к Поясу, будто показывала нам дорогу.

Наконец впереди посерело, и тоннель кончился решёткой, за которой было небо. Роман опустил Злату на сухой бетонный выступ и долго возился с замком, а потом отодвинул решётку, и мы вылезли в бетонную канаву за длинными складами с плоскими крышами. Небо было бледным, почти белым на востоке, и пахло мокрым асфальтом, машинным маслом и чем-то кислым, как у мусорных баков в Седьмой.

Это был Пояс, и я узнала его по ровным рядам фонарей

вдоль дороги и по усталой сонной тишине. Я стояла в канаве, мокрая до колен, босая, в белой рубашке и широких белых брюках. Меня трясло так, что стучали зубы.

Роман посмотрел на меня и молча снял куртку. Он набросил её мне на плечи, тяжёлую, тёплую изнутри, пахнущую им и сыростью тоннеля, и застегнул на мне до горла, как застёгивают ребёнку. Потом он сел на край канавы и стал расшнуровывать ботинки.

— Что вы делаете? — спросила я.

— Я знал, что вы будете босиком, — сказал он, не поднимая головы. — Ваши туфли на служебной лестнице видел весь отдел охраны. Поэтому я надел две пары носков.

Он снял толстые шерстяные носки, тёмно-серые, протянул их мне и остался в тонких чёрных носках на мокром бетоне. Я надела шерстяные, сидя на краю канавы, и ноги, которые я уже не чувствовала, вдруг заныли от тепла так, что у меня выступили слёзы. Свои ботинки Роман поставил перед Златой.

Злата сидела на выступе, обхватив себя руками, и смотрела на ботинки так, будто он предлагал ей что-то неприличное. Её белые туфли промокли насквозь, одна подошва отстала и висела, а на пятках проступили красные пятна. Она подняла глаза на Романа и долго не говорила ни слова.

— Они мне велики, — сказала она наконец и откашлялась.

— Размер не важен, — ответил Роман. — Главное, чтобы

не по стеклу. Внизу у платформы битого стекла больше, чем травы.

Я впервые за всю ночь увидела в её лице что-то, кроме страха, похожее на удивление человека, которому вдруг уступили место, хотя он не просил. Она стащила мокрые туфли и сунула ноги в ботинки Романа, и они болтались на ней, как вёдра. Роман сам затянул ей шнурки, туго, двойным узлом.

— А вы? — спросила я.

— Я дойду в носках, — сказал он и поднялся. — Мне не впервой. Глеб однажды выбросил мои ботинки с крыши, чтобы я не убежал раньше, чем взойдёт солнце.

Он улыбнулся одним уголком рта, впервые с того вечера, когда мы стояли под звёздами на крыше Обсерватории. Улыбка шла ему больше, чем кураторский костюм. Потом она пропала, и он посмотрел на дорогу за складами.

За складами стояла грузовая платформа, длинная и низкая, на железных колёсах, такая же, на какой нас везли в Пояс первого апреля. На ней рядами стояли ящики, и на каждом белел знак «Гипноса», синий полумесяц на белом поле. Двое рабочих в тёмно-синих куртках закрепляли последние ящики ремнями, переговариваясь сонными голосами.

— Платформа идёт вниз в половине шестого, — сказал Роман. — Сменные обручи, провода, лекарства для станций. Её почти не проверяют, потому что никто в здравом уме не бежит вниз. Внизу вас встретят. Друзья Глеба.

— Вас тоже? — спросила я.

— Меня тоже, — сказал он. — Мне надо увидеть, куда я вас отдаю. Потом я вернусь наверх, пока отец не заметил.

Мы дождались, пока рабочие уйдут в будку у дороги, и перебежали к платформе, пригибаясь, и Роман подсадил Злату между ящиками в последнем ряду. Мы втроём сели на холодный железный пол в узкой щели между ящиками с полумесяцами. Злата сидела у меня под боком, в огромных ботинках, и держала птичку на коленях обеими руками.

Платформа дёрнулась и пошла, медленно, скрипя колёсами, и склады поплыли назад. Небо розовело на востоке, и сквозь щель между ящиками я видела, как внизу, у реки, просыпаются Низины. Сначала показались трубы заводов, потом крыши дортуаров, потом синий полумесяц станции у моста, который ещё горел, хотя ночь уже кончилась.

Я сидела, закутавшись в куртку Романа, и смотрела на этот полумесяц. Где-то там, в спальне 4-2, Тим ещё спал на своей койке у стены с нарисованными городами, и до пятого мая оставалось семь дней. Мне стало так тепло, что я испугалась этого тепла, потому что оно было похоже на тепло Оранжереи, и я заставила себя открыть глаза и смотреть на небо.

Роман сидел рядом в тонких носках, обхватив колени, и тоже смотрел вниз, на Низины. Я видела, как дрожат его пальцы, и не знала, от холода это или от чего-то другого. Я положила руку поверх его руки, и он не отдёрнул её, только

накрыл мою второй ладонью, и мы ехали так, молча, вниз, к реке.